

Евгений Иванович Замятин

Уездное



ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН

Уездное

«Public Domain»

1912

Замятин Е. И.

Уездное / Е. И. Замятин — «Public Domain», 1912

«...Ребята побаивались Барыбы: зверюга, под тяжелую руку в землю вобьет. Дразнили из-за угла, за версту. Зато, когда голоден бывал Барыба, кормили его булками и тут уж потешались всласть. – Эй, Барыба, за полбулки разгрызи. И суют ему камушки, выбирают, какие потверже. – Мало, – угрюмо бурчит Барыба, – булку. – Вот, черт, едун! – но найдут и булку. И начнет Барыба на потеху ребятам грызть камушки, размалывать их железными своими давилками – знай подкладывай! Потеха ребятам, диковина. ...»

Содержание

1. Четырехугольный	5
2. С собаками	7
3. Цыплята	9
4. Смилоствивился	10
5. Жисть	12
6. В чуриловском трактире	14
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Евгений Замятин

Уездное

1. Четырехугольный

Отец бесперечь пилит: «Учись да учись, а то будешь, как я, сапоги тачать». А как тут учиться, когда в журнале записан первым, и, стало быть, как только урок, сейчас же и тянут:

– Барыба Анфим. Пожалуйте-с.

И стоит Анфим Барыба, потеет, нахлобучивает и без того низкий лоб на самые брови.

– Опять ни бельмеса? А-а-ах, а ведь малый-то ты на возрасте, замуж пора. Садись, брат.

Садился Барыба. И сидел основательно – года по два в классе. Так испрохвала, не торопясь, добрался Барыба и до последнего.

Было ему о ту пору годов пятнадцать, а то и побольше. Высыпали уж, как хорошая озимь, усы, и бегал с другими ребятами на Стрелецкий пруд – глядеть, как бабы купаются. А ночью после – хоть и спать не ложись: такие ползут жаркие сны, такой хоровод заведут, что...

Встанет Барыба наутро смурый и весь день колобродит. Зальется до ночи в монастырский лес. Училище? А, да пропадай оно пропадом!

Вечером отец возьмется его бузовать: «Опять сбежал, неслух, заворотень?» А он хоть бы что, совсем оголтелый: зубы стиснет, не пикнет. Только еще колючей повыступят все углы чудного его лица.

Уж и правда: углы. Не зря прозвали его утюгом ребята-уездники. Тяжкие железные челюсти, широченный, четырехугольный рот и узенький лоб: как есть утюг, носиком кверху. Да и весь-то Барыба какой-то широкий, громоздкий, громахающий, весь из жестких прямых и углов. Но так одно к одному пригнано, что из нескладных кусков как будто и лад какой-то выходит: может, и дикий, может, и страшный, а все же лад.

Ребята побаивались Барыбы: зверюга, под тяжелую руку в землю вобьет. Дразнили из-за угла, за версту. Зато, когда голоден бывал Барыба, кормили его булками и тут уж потешались властью.

– Эй, Барыба, за полбулки разгрызи.

И суют ему камушки, выбирают, какие потверже.

– Мало, – угрюмо бурчит Барыба, – булку.

– Вот, черт, едун! – но найдут и булку. И начнет Барыба на потеху ребятам грызть камушки, размалывать их железными своими давилками – знай подкладывай! Потеха ребятам, диковина.

Забавы забавами, а как экзамены настали, пришлось и забавникам за книги засесть, даром что зеленый май на дворе.

Восемнадцатого, на царицу Александру, по закону экзамен – первый из выпускных. Вот, вечером как-то, отец отложил в сторону дратву и сапог, очки снял да и говорит:

– Ты это помни, Анфимка, заруби на носу. Коли и теперь не выдержишь – со двора сгоню.

Как будто чего уж лучше: три дня подготовки. Да на грех завязалась у ребят орлянка – ох и завлекательная же игра! Два дня не везло Анфимке, весь свой капитал проиграл: семь гривен и новый пояс с пряжкой. Хоть топись. Да на третий день, слава те господи, все вернул и чистых еще выиграл больше полтинника.

Восемнадцатого, понятно, Барыбу вызвали первым. Ни гугу уездники, ждут: ну, сейчас поплывет бедняга.

Вытянул Барыба – и уставился в белый листок билета. От белизны этой и от страха слегка затоснило. Ухнули куда-то все слова: ни одного.

На первых партах подсказчики зашептали:

– Тигр и Ефрат... Сад, в котором жили... Месопотамия. Ме-со-по-та... Черт глухой!

Барыба заговорил – одно за другим стал откалывать, как камни, слова – тяжкие, редкие.

– Адам и Ева. Между Тигром и... этим, Ефратом. Рай был огромный сад. В котором водились месопотамы. И другие животные...

Поп кивнул, как будто очень ласково. Барыба приободрился.

– Это кто же-с месопотамы-то? А, Анфим? Объясни-ка нам, Анфимушка.

– Месопотамы... Это такие. Допотопные звери. Очень хищные. И вот в раю они. Жили рядом...

Поп хрюкал от смеха и прикрывался отогнутой кверху бородой, ребята полегли на парты.

Домой Барыба не пошел. Уж знал – отец человек правильный, слов не пускает на ветер. Что сказано, то и сделает. Разве к тому же еще и ремнем хорошенько взбучит.

2. С собаками

Жили-были Балкашины, купцы почтенные, на заводе своем солод варили-варили, да в холерный год все как-то вдруг и примерли. Сказывают, далеко гдей-то в большом городе живут наследники ихние, да вот все не едут. Так и горюет-пустует выморочный дом. Похилилась деревянная башня, накрест досками заколотили окна, засел бурьян во дворе. Через забор швыряют на балкашинский двор слепых щенят да котят, под забором с улицы лязят за добычей бродячие собаки.

Тут вот и поселился Барыба. Облюбовал старую коровью закуту, благо двери не заперты и стоят в закуте ясли, из досок сколочены: чем не кровать? Благодать Барыбе теперь: учиться не надо, делай что тебе в голову взбредет, купайся, пока зубами не заляскаешь, за шарманщиком хоть целый день по посаду броди, в монастырском лесу – днюй и ночуй.

Все бы хорошо, да есть скоро нечего стало. Рублишка какого-нибудь там надолго ли хватит?

Стал Барыба за поживой ходить на базар. С нескладной звериной ловкостью, длиннорукий, спрятавшись внутрь себя и выглядывая исподлобья, шнырял он между поднятых кверху белых оглобель, жующих овес лошадей, без усталости молотящих языком баб: чуть которая-нибудь зазевалась матрена – ну и готово, добыл себе Барыба обед.

Не вывезет на базаре – побежит Барыба в Стрелецкую слободу. Где пешком, где ползком – рыщет по задам, загуменниками, огородами. Уедливый запах полыни щекочет ноздри, а чихнуть – боже избави: хозяйюшка вон она – вон, гряды полет, и ныряет в зелени красный платок. Наберет Барыба картошки, моркови, испечет дома – на балкашинском дворе, ест, обжигаясь, без соли – вот вроде как будто и сыт. Не до жиру, конечно: быть бы живу.

Не задастся, не повезет иной день – сидит Барыба голодный и волчьими, завистливыми глазами глядит на собак: хрустят костью, весело играют костью. Глядит Барыба...

Дни, недели, месяцы. Ох, и осточертело же с собаками голодными жить на балкашинском дворе! Зачиврел, зачерствел Барыба, оброс, почернел; от худобы еще жестче углами выперли челюсти и скулы, еще тяжелей, четырехугольней стало лицо.

Убежать бы от собачьей жизни. Людей бы, по-людски бы чего-нибудь: чаю бы горяченького попить, под одеялом поспать.

Бывали дни – целый день Барыба лежал в закуте своей ничком на соломе. Бывали дни – целый день Барыба метался по двору балкашинскому, искал людей, людского чего-нибудь.

На соседнем чеботаревском дворе – с утра народ: кожемяки в кожаных фартуках, возчики с подводами кож. Увидят – чей-то глаз вертится в заборной дыре, ширнут кнутовищем:

– Эй, кто там?

– Ай хозяин-дворовой остался на балкашинском дворе?

Барыба – прыжками волчиными – в закуту к себе, в солому, и лежит. Ух, попадись ему возчики эти самые: уж он бы им – уж он бы их...

С полудня на чеботаревском дворе – ножами на кухне стучат, убоиной жареной пахнет. Инда весь затрясется Барыба у щелки своей у заборной и не отлипнет потуда, покуда обедать там не кончат.

Кончат обедать – как будто и ему полегче станет. Кончат, и выползает на двор Чеботариха сама: красная, наседавшая, от перекорма ходить не может.

– У-ух... – железом по железу – заскрипит зубами Барыба.

По праздникам над балкашинским двором, на верху переулочка, звонила Покровская церковь – и от звона было еще лютее Барыбе. Звонит и звонит, в уши гудит, перезванивает...

«Да ведь вот же куда – в монастырь, к Евсею!» – осенило звоном Барыбу.

Малым мальчишкой еще, после порки бегивал Барыба к Евсею. И всегда, бывало, чаем напоит Евсей, с кренделями с монастырскими. Поит – а сам приговаривает, так что-нибудь, абы бы утешить:

– Эх, малый! Меня намедни игумен за святые власы схватил, я и то... Эх, мал... А ты ревешь?

Веселый прибежал в монастырь Барыба: ушел теперь от собак балкашинских.

– Отец Евсей дома?

Послушник прикрыл рот рукой, загоготал:

– Во-она! Его и с гончими не разыщешь: запил, всю неделю в Стрельцах кутит отец Евсей. Нету Евсея. Конец, больше некуда. Опять на балкашинский двор...

3. Цыплята

После всенощной либо после обедни догонит Чеботариху батюшка Покровский, головой покачает и скажет:

– Неподобно это, мать моя. Ходить нужно, проминаж делать. А то, гляди-ка, плоть совсем одолеет.

А Чеботариха на линейке своей расползется, как тесто, и, губы поджавши, скажет:

– Никак не можно, батюшка, бизпридстанно биение сердца.

И катит Чеботариха дальше по пыли, облепляя линейку – одно целое с ней, грузное, пlyingщее, рессорное. Так, на своих ногах без колес – никто Чеботариху на улице и не видел. Уж чего ближе – до бани ихней чеботаревской (завод кожевенный и баню торговую муж ей оставил), так и то на линейке ездил, по пятницам – в бабий день.

И потому линейка эта самая, и мерин полово-пегий, и кучер Урванка – у Чеботарихи в большом почете. А уж особо Урванка: кучерявый, силища, черт, и черный весь – цыган он был, что ли. Закопченный какой-то, приземистый, жилистый, весь как узел из хорошей веревки. Поговаривали, что он, мол, у Чеботарихи не только что в кучерах. Да из-под полы говорили, громко-то боялись: попадись-ка к нему, к Урванке – влущует, брат, так, что... Человека до полусмерти избить – Урванке первое удовольствие: потому – самого очень бивали, в конокрадах был.

А вот была-таки и любовь у Урванки – лошадей он любил и кур. Лошадей скребет-скребет, бывало, гриву своим медным гребнем чешет, а то и разговаривать с ними возьмется на каковском-то языке. Может, и правда – нехристь был?

А кур любил Урванка за то, что весною были они цыплятами – желтыми, кругленькими, мягкими. Гоняется, бывало, за ними по всему по двору: ути-ути-ути! Под водовозку залезет, под крыльцо заползет на карачках – а уж изловит, на руку посадит и – первое ему удовольствие – духом цыпленка греть. И так, чтобы рожи его о ту пору никто не видал. Бог его знает, какая она бывала. Так, не поглядевши, и не представить: Урванка этот самый – и цыпленок. Чудно!

Вышло так на горе Барыбино, что и он цыплят Урванкиных полюбил: вкусны очень, повадился их таскать. Другого, третьего нет – заприметил Урванка. А куда запропастились цыплята – и ума не приложит. Хорек разве завелся?

После полдён лежит как-то Урванка под сараем в телеге. Жарынь, в дрему клонит. Цыплята – и то под сарай запрятались, в тень у стеночки присели, глаза отонком закрыли, носом клюют.

И не видят, бедняги, что доска сзади отодрана и тянется через дыру, тянется к ним рука. Цоп – и заверещал, затекал цыпленок в Барыбином кулаке.

Вскочил, заорал Урванка. Мигом перемахнулся через забор.

– Держи, держи его, держи вора!

Дикий звериный бег. Добежал, запятился Барыба в свои ясли, залез под солому, но Урванка нашел и там. Вытащил, поставил на ноги.

– Ну, погоди же ты у меня! Я тебе – за цыплят за моих...

И поволок за шиворот – к Чеботарихе: пусть уж она казнь вору придумает.

4. Смилоствился

Кухарку – Анисью толстомордую – прогнала Чеботариха. За что? А за то самое, чтобы к Урванке не подкатывалась. Прогнала, а теперь вот хоть разорвись. Нету по всему посаду кухарок. Пришлось взять Польку – так, девчонку ледащую.

И вот в Покровской церкви к вечерне вызванивали. Полька эта самая в зальце пол мела, посыпав спитым чаем, как Чеботариха учила. А Чеботариха сама тут же сидела в крытом кретоном диване и помирала от скуки, глядя в стеклянную мухоловку: в мухоловке – квас, а в квасу утопились со скуки мухи. Чеботариха зевала, крестила рот: «Ох, господи-батюшка, помилуй...»

И смилоствился: какой-то топот и гвалт в сенях – и Урванка впахнул Барыбу. Так оторопел Барыба – увидел Чеботариху самое, что и вырваться перестал, только глаза, как мыши, метались по всем углам.

Про цыпляточек Чеботариха услышала – раскипелась, слюнями забрызгала.

– На цыпляточек, на андельчиков божьих, руку поднял? Ах, злодей, ах, негодник! Полюшка, веник неси. Не-си, неси, и знать ничего не хочу!

Урванка зубы оскалил, саданул сзади коленкой – и мигом на полу Барыба. Закусался было, змеем завился – да куда уж ему против Урванки-черта: разложил, оседлал, штаны дырявые мигом содрал с Барыбы и ждал только слова Чеботарихина – расправу начать.

А Чеботариха – от смеху слова-то не могла сказать, такая смехота напала. Насилу уж раскрыла глаза: чтой-то они там на полу затихли?

Раскрыла – и оступися смех, ближе нагнулась к напряженному, зверино-крепкому телу Барыбы.

– Уйди-кось, Урван. Слезь, говорю, слезь! Дай поспрошать его толком... – на Урванку Чеботариха не глядела, отвела глаза в угол.

Медленно слез Урванка, на пороге – обернулся, со всех сил хлопнул дверью.

Барыба вскочил, метнулся скорей за штанами: батюшки, от штанов-то одни лохмоты! Ну, бежать без оглядки...

Но Чеботариха крепко держала за руку:

– Вы чьих же это, мальчик, будете?

Еще оттопыривала нижнюю губу, вместо «мальчик» сказала «мыльчик», еще напускала важность, но уж что-то другое учуял Барыба.

– Са-апожников я... – и сразу вспомнил всю свою жизнь, заскулил, завыл. – За экзамен меня отец прогнал, я жи-ил... на бал... на балкаши-и...

Всплеснула Чеботариха руками, запела сладко-жалобно:

– Ах, сиротинушка ты моя, ах, несчастная! Из дому – сына родного, а? Тоже отец называется...

Пела – и за руку волокла куда-то Барыбу, и тоскливо-покорно Барыба шел.

– ...И добру-то поучить тебя некому. А враг-то – вот он: украдь да украдь цыпленочка – верно?

Спальня. Огромная, с горою перин, кровать. Лампадка. Поблескивают ризы у икон.

На какой-то коврик пихнула Барыбу:

– На коленки, на коленки-то стань. Помолись, Анфимушка, помолись. Господь милосливый, он простит. И я прощу...

И сама где-то осела сзади, яростно зашептала молитву. Обалдел, не шевелясь, стоял на коленях Барыба. «Встать бы, уйти. Встать...»

– Да ты что ж это, а? Как тебя креститься-то учили? – схватила Чеботариха Барыбину руку. – Ну, вот так вот: на лоб, на живот... – облапила сзади, дышала в шею.

Вдруг, неожиданно для себя, обернулся Барыба и, стиснув челюсти, запустил руки в мягкое что-то, как тесто.

– Ах ты етакой, а? Да ты что ж это, вон что, а? Ну, так уж и быть, для тебя согрешу, для сиротинки.

Потонул Барыба в сладком и жарком тесте.

На ночь Полька ему постелила войлок на рундуке в передней. Помотал головой Барыба: ну и чудеса на свете. Уснул сытый, довольный.

5. Жисть

Да, тут уж не то что на балкашинском дворе жизнь. На всем на готовеньком, в спокойе, на мягких перинах, в жарко натопленных старновкою комнатах. Весь день бродить в сладком безделье. В сумерках прикорнуть на лежаночке рядом с мурлыкающим во все тяжкие Васькой. Есть до отвалу. Эх, жисть!

Есть до того, что в жар бросит, до поту. Есть с утра до вечера, живот в еде класть. Так уж у Чеботарихи заведено.

Утром – чай, с молоком топленным, с пышками ржаными на юраге. Чеботариха в ночной кофте белой (не очень уж, впрочем), голова косынкой покрыта.

– И что это в косынке вы все? – скажет Барыба.

– То-то тебя учили-то! Да нешто можно женщине простоволосой ходить? Чай, я не девка, ведь грех. Чай, венцом покрытая с мужем жила. Это непокрытые которые живут, непутевые...

А то другой какой разговор заведут пользительный для еды: о снах, о соннике, о Мартыне Задеке, о приметах да о присухах разных.

Туда-сюда – ан глядь, уже двенадцатый час. Полудновать пора. Студень, щи, сомовина, а то сазан соленый, кишки жареные с гречневой кашей, трепуха с хреном, моченые арбузы да яблоки, да и мало ли там еще что.

В полдень – ни спать, ни купаться на реке нельзя: бес-то полуденный вот он – как раз и прихватит. А спать, конечно, хочется, нечистый блазнит, зевоту нагоняет.

Со скуки зеленой пойдет Барыба на кухню, к Польке: дура-дура, а все жив человек. Разыщет там кота, любимца Полькина, и давай его в сапог сажать. Визг, содом на кухне. Полька как угорелая мыкается кругом.

– Анфим Егорыч, Анфим Егорыч, да отпустите вы Васеньку. Христа ради!

Скалит зубы Анфимка, пихает кота еще глубже. И Полька умоляет уж Васеньку:

– Васенька, ну, не плачь, ну, потерпи, ребеночек, потерпи! Сейчас, сейчас отпустит.

Истошным голосом кричит кот. У Польки – глаза круглые, косенка наперед перевалилась, тянет за рукав Барыбу слабой своей рукой.

– Уйд-ди, а то самое сапогом так вот и шкрыкну!

Запустит в угол Барыба сапог вместе с котом и доволен – грохочет-громыхает по ухабам телегой.

Ужинали рано, в девятом часу. Принесет Полька еду – и отсылает ее Чеботариха спать, чтоб глаза не мозолила. Потом вынимает из горки графинчик.

– Выкушайте, Анфимушка, выкушайте еще рюмочку.

Молча пьют. Тоненько пищит и коптит лампа. Долго никто не видит.

«Коптит. Сказать бы?» – думает Барыба.

Но не повернуть тонущие мысли, не выговорить.

Чеботариха подливает ему и себе. Под тухнувшим светом лампы – в одно тусклое пятно стирается у ней все лицо. И виден, и кричит только один жадный рот – красная мокрая дыра. Все лицо – один рот. И все ближе к Барыбе запах ее потного, липкого тела.

Долго, медленно умирает в тоске лампа. Черный снег копоти летает в столовой. Смерд.

А в спальне – лампадка, мельканье фольговых риз. Раскрыта кровать, и на коврикке возле бьет Чеботариха поклоны.

И знает Барыба: чем больше поклонов, чем ярее замаливает она грехи, тем дольше будет мучить его ночью.

«Забиться бы куда-нибудь, залезть в какую-нибудь щель тараканом...»

Но некуда: двери замкнуты, окно запечатано тьмой.

Нелегкая, что и говорить, у Барыбы служба. Да зато уж Чеботариха в нем все больше, день ото дня, души не чает. Такую он силу забрал, что только у Чеботарихи теперь и думы, чем бы это еще такое Анфимушку ублажить.

– Анфимушка, еще тарелочку скушай...

– Ох, и чтой-то стыдь во дворе ноне! Анфимушка, дай-ка я тебе шарфик подвяжу, а?

– Анфимушка, ай опять живот болит? Вот грехи-то! Накося, вот водка с горчицей да с солью, выпей – первое средство.

Сапоги-бутылки, часы серебряные на шейной цепочке, калоши новые резиновые – и ходит Барыба рындиком этаким по чеботаревскому двору, распорядки наводит.

– Эй, ты, гамай, гужеед, где кожи вывалил? Тебе куда велено?

Глядишь – и оштрафовал на семитку, и мнет уж мужик дырявую свою шапчонку, и кланяется.

Одного только за версту и обходит Барыба – Урванку. А то ведь и на Чеботариху самое взъестся подчас. Терпит, терпит, а иной раз такая посчастливится ночь... Наутро мутное все, сбежал бы на край света. Запрется Барыба в зальце, и мыкается, и мыкается, как в клетке.

Осядет Чеботариха, притихнет. Зовет Польку:

– Полюшка, поди – погляди, как он там? А то обедать зови.

Бежит, хихикая, Полька обратно:

– Нейдеть. Зёл, зёл, и-и, так поперек полу и ходить!

И ждет Чеботариха с обедом час, два.

А уж если с обедом ждет, уж если час святой обеденный нарушает – уж это значит...

6. В чуриловском трактире

Раздобрел Барыба на приказчицком положении да на хороших хлебах.

Встретил его на Дворянской почтальон Чернобыльников, старый знакомец, так прямо руками развел:

– И не узнать. Ишь купцом каким!

Завидовал Барыбе Чернобыльников: хорошо парню живется. Уж как-никак, а должен, видно, Барыба спрыснуть, угостить друзей в трактире: что ему, богатею, стоит?

Уговорил, улестил малого.

К семи часам, как уговор был, пришел Барыба в чуриловский трактир. Ну и место же веселое, о господи! Шум, гам, огни. Половые белые шмыгают, голоса пьяные мелькают спицами в колесе.

Голова кругом пошла у Барыбы, опешил, и никак Чернобыльникова не разыскать.

А Чернобыльников уже кричит издали:

– Э-эй, купец, сюда!

Поблескивают пуговицы почтальонские у Чернобыльникова. И рядом с ним какой-то еще человек. Маленький, востроносый, сидит – и не на стуле будто сидит, а так, на жердочке прыгает, вроде – воробей.

Чернобыльников кивнул на воробья:

– Тимоша это, портной. Разговорчивый.

Улыбнулся Тимоша – зажег теплую лампадку на остром своем лице:

– Портной, да. Мозги перешиваю.

Барыба разинул рот, хотел спросить, да сзади толкнули в плечо. Половой, с подносом на отлете, у самой головы, уж ставил пиво на стол. Галдели, путались голоса, и надо всеми стоял один – рыжий мещанин, маклак лошадный, орал:

– Митька, эй, Митька, скугаревая башка, да принесешь ты ай нет?

И запевал опять:

По тебе, широка улица,
Последний раз иду...

Узнал Тимоша, что из уездного Барыба, обрадовался.

– Самый этот поп тебе, значит, и подложил свинью? Ну, как же, зна-аю его, знаю. Шивал ему. Да не любит он меня, страсть!

– За что же не любит-то?

– А за разговоры мои разные. Намедни говорю ему: «Как это, мол, святые-то наши на том свете, в раю будут? Тимофей-то милосливый, ангел мой и покровитель, увидит он, как я в аду буду поджариваться, а сам опять за райское яблоко возьмется? Вот те и многомилосливый, вот те и святая душа! А не видеть меня, не знать – не может он, по катехизису должен». Ну, и заткнулся поп, не знал, что сказать.

– Ловко! – заржал Барыба, загромыхал, засмеялся.

– «Ты бы, – поп мне говорит, – лучше добрые дела делал, чем языком-то так трепать».

А я ему: «Зачем, – говорю, – мне добрые дела делать? Я лучше злые буду. Злые для ближних моих полезительней, потому, по Евангелию, за зло мое им господь Бог на том свете сторицею добром воздаст...» Ах и ругался же поп!

– Так его, попа, так его, – ликовал Барыба. Полюбил бы вот сейчас Тимошу за это, за то, что попа так ловко отделал, – полюбил бы, да тяжел был Барыба, круто заквашен, не проворотить его было для любви.

За столиком, где сидел рыжий мещанин, зазвенели стаканы. Страшный, рыжими волосами обросший кулак драбазнул по столу. Мещанин вопил:

– А ну, скажи? А ну, еще раз скажи? А ну-ка, а ну?

Повскакали соседи, сгрудились, повытянули шеи: ох, любят у нас скандалы, медом их не корми!

Какой-то длинношей верзила вывернулся из свалки, подошел к столику, здоровался с Чернобыльниковым. Под мышкой держал фуражку с кокардой.

– Удивительно... И уж сейчас все лезут, как бараны, – сказал он гусиным тонким голосом и выпятил презрительно губы.

Сел. На Тимошу с Барыбой – ноль внимания. Говорил с Чернобыльниковым: почтальон – все-таки вроде чиновник.

Тимоша, не обинуясь, вслух объяснил Барыбе:

– Казначейский зять он. Женил его казначей на последней своей, на засиделой, и местикко ему устроил, в казначействе писцом – ну, он и пыжится.

Казначейский зять будто не слушал и еще громче говорил Чернобыльникову:

– И вот после ревизии представили его к губернскому секретарю...

Чернобыльников почтительно протянул:

– К губе-ернскому?

Тимоше невтерпеж стало – влез в разговор:

– Почтальон, Чернобыльников, а помнишь, как его намедни исправник-то из дворянской... энтим самым местом выпихнул?

– Просил бы... Пок-корнейше просил бы! – сказал казначейский зять свирепо.

А Тимоша досказывал:

– «...Ан не пойдешь!» – «Ан пойду!» Ну, слово за слово, – об заклад. Влез он в дворянскую. А на бильярде-то как раз казначей с исправником играли. Наш франтик – к тестю: на ухо прошептал, будто за каким делом пришел. Да там и остался стоять. А исправник – начал кием нацеливаться, все пятился, пятился да невзначай будто так его и выпихнул энтим самым местом. Ох, господи, вот смеху-то было!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.